## На чужом жнивье[[1]](#footnote-1)

Сомерсет Моэм

## Пер. Т. Казавчинская

Хотя мы с Блэндами знакомы уже много лет, я не знал, что Ферди Рабенстайн приходится им родственником. С Ферди мы впервые встретились, когда ему было лет пятьдесят, а в пору, о которой я пишу, уже давно перевалило за семьдесят. Впрочем, изменился он мало. Его жесткие, но все еще густые вьющиеся волосы, конечно, побелели, однако фигура сохраняла легкость, и держался он с обычной своей галантностью. Легко верилось, что в молодости он был замечательно хорош собой и что молва ему не льстит. У него и сейчас был точеный семитский профиль и блестящие черные глаза, разбившие сердце не одной англичанке. Высокий, худощавый, с правильным овалом лица и гладкой кожей, он к тому же прекрасно носил платье, и даже сейчас в вечернем костюме выглядел самым красивым из всех известных мне мужчин. В пластроне его рубашки красовались черные жемчужины, на пальцах — платиновые кольца с сапфирами. Пожалуй, его стиль грешил известной броскостью, но чувствовалось, что он прекрасно соответствует характеру Ферди: ему бы просто не пошло ничто иное.

— В конце концов, я человек восточный, — отшучивался он, — могу себе позволить толику варварского излишества.

Мне всегда приходило в голову, что Ферди Рабенстайн прямо просится в литературные герои: отличная бы получилась биография. Он не был великим человеком, но, в назначенных себе пределах, превратил свою жизнь в произведение искусства. То был маленький шедевр, вроде персидской миниатюры, чья ценность — в полной завершенности. Только, к сожалению, данных было бы маловато. Такая биография должна бы состоять из писем, которые скорей всего давно были уничтожены, а также из воспоминаний тех, кто очень стар и вскоре сойдет в гроб. У самого Ферди память феноменальная, но он не станет писать мемуары, ибо воспоминания для него — источник глубоко интимных радостей, а человек он такта безупречного. Да я и не знаю никого, кроме Макса Бирбома, кто мог бы воздать подобному герою по заслугам. В сегодняшнем жестоком мире лишь он способен отнестись к банальному с таким нежным участием и возбудить такое мягкое сочувствие к тщете. Удивительно, что Макс, который, надо думать, знает Ферди и много дольше, и много лучше моего, не пожелал ради него пускать в ход свою изощренную фантазию. Ферди просто был создан, чтобы попасть к Максу на перо. А иллюстрировать эту изысканную книгу, стоящую у меня перед глазами, следовало бы, конечно, Обри Бердслею. То был бы тройной памятник, воздвигнутый великими в честь однодневки, которая почила бы на века в чарующе прозрачном янтаре.

Победы Ферди были светскими, и ристалищем ему служил большой свет. Родился он в Южной Африке, в Англию приехал уже в двадцатилетнем возрасте. Какое-то время занимался биржевыми операциями, но, унаследовав значительное отцовское состояние, оставил дела и предался праздной жизни. Английское общество тогда еще выло непроницаемо для посторонних, и еврею нелегко было прорваться сквозь его препоны, но перед Ферди они пали, словно стены Иерихона. Он был красавец, богач, он любил охоту, он был приятен в обращении. Ему принадлежал дом на Керзон-стрит, обставленный изумительной французской мебелью, он держал повара-француза, ездил в двухместной карете. Любопытно было бы узнать, как, с каких шагов началась столь блистательная карьера, но сведения об этом покрыты мраком неизвестности. Когда мы с ним встретились впервые, он уже давно слыл одним из самых элегантных людей в Лондоне. Случилось это в Норфолке, в одном весьма фешенебельном доме, куда меня как подающего надежды молодого романиста пригласила хозяйка, питавшая слабость к литературе; общество там собралось самое избранное, и я был преисполнен трепета. Нас было шестнадцать человек гостей, чувствовал я себя неуверенно и одиноко среди членов кабинета, гранд-дам и пэров Англии, говоривших о людях и обстоятельствах, мне совершенно не известных. Они держались вежливо, но безучастно, и я не мог не сознавать, что, так или иначе, являюсь для хозяйки обузой. Спас меня Ферди. Он присаживался ко мне, прохаживался со мной, разговаривал только со мной. Едва он узнал, что я писатель, как сразу заговорил о драме и романе; выяснив, что я долго жил на континенте, с большой приятностью стал рассуждать о Франции, Германии, Испании. Можно было подумать, что он и впрямь дорожит моим обществом. Он подарил мне лестное ощущение того, что мы с ним нечто совсем иное, чем прочие гости, и на фоне наших с ним разговоров о высоких материях все остальные — о международном положении, скандальных разводах каких-то супружеских пар и нараставшем нежелании фазанов подставляться под пули — просто несерьезны. Если в глубине души Ферди и в самом деле ощущал хоть тень презрения к окружавшим нас бодрым и энергичным господам, я убежден, что только мне позволил он заметить это чувство, но, оглядываясь назад, не могу не задаться вопросом: а вдруг это был, в конце концов, всего лишь учтивый и очень тонкий комплимент с его стороны? Ему, конечно, нравилось испытывать силу своих чар, и, осмелюсь заметить, непритворное удовольствие, которое я получал от нашей беседы, ему льстило, но все же у него не было какой-либо иной причины нянчиться с малоизвестным романистом, кроме искреннего интереса к литературе и искусству. Я ощущал, что оба мы, по сути дела, были равно чужды этому кругу (я — потому что был писателем, он — потому что был евреем), но не мог не завидовать непринужденности, с какой он держался. Чувствовал он себя как дома. Все называли его Ферди. Казалось, хорошее настроение его не покидает. За словом — будь то колкость, шутка или ответная реплика — он не лез в карман. Его любили в этом доме, потому что он всех смешил и никогда никого не ставил в неловкое положение, сказав что-либо недоступное разумению присутствовавших. Он придавал их жизни легкий привкус восточной романтики, но делал это так умно, что от этого они еще больше ощущали себя англичанами. С ним невозможно было соскучиться, и, если он оказывался среди приглашенных, можно было не опасаться, что за столом повиснет убийственное молчание, как водится порою у британцев. На случай неизбежной паузы у Ферди Рабенстайна всегда была припасена тема, которую все находили забавной. Бесценная находка для любого общества! В памяти у него хранился неисчерпаемый запас еврейских анекдотов. Он был отличным имитатором, еврейскому акценту и мимике подражал замечательно; голова у него при этом уходила в плечи, лицо приобретало хитроватое выражение, в голосе появлялись елейные нотки, и перед вами представал раввин, или старьевщик, или разбитной коммивояжер, а то и толстуха сводница из Франкфурта. Удовольствие было как в театре. Оттого, что сам он был еврей и не скрывал этого, мы хохотали до упаду, хотя и не без легкого смущения — по крайней мере моего. Мне не вполне понятно, что это за юмор, повелевающий так жестоко насмехаться над собственным племенем. Позже я узнал, что еврейские анекдоты были коньком Ферди Рабенстайна, и почти не бывало случая, чтобы, оказавшись с ним в одной компании, я, поздно или рано, не услышал от него какого-нибудь самоновейшего анекдота.

Впрочем, лучшая история, которую он мне тогда рассказал, была отнюдь не еврейская. Она произвела на меня такое сильное впечатление, что навсегда запала в память, но почему-то мне никогда не представлялось случая пересказать ее. И если я привожу ее здесь, то потому только, что этот незначительный, но любопытный эпизод касается людей, чьи имена останутся в светских анналах викторианской эпохи, и, по-моему, жаль было бы забыть его. Ферди поведал, что давным-давно, в ранней молодости, он как-то раз гостил в одном загородном доме, где познакомился с миссис Лангтри, находившейся в расцвете красоты и легендарной славы. Дом этот стоял не так уж далеко — в часе-другом езды на машине от имения герцогини Сомерсетской, королевы Инглинтонского парада красоты, а так как Ферди был немного знаком с герцогиней, ему пришло в голову, что было бы забавно свести обеих женщин вместе. Мысль эта понравилась миссис Лангтри, и он тотчас отправил герцогине записку, нельзя ли привезти к ней в гости известную красавицу. Было бы только справедливо, писал он, если бы самая прелестная женщина нынешнего поколения (дело было в 80-х годах прошлого века) могла отдать дань уважения самой прелестной женщине поколения предшествующего. «Непременно привозите, — последовал ответ, — но предупреждаю, что для нее это будет шоком». Они приехали в двуконной карете (на миссис Лангтри был голубой капор с длинными атласными лентами, плотно прилегавший к головке и подчеркивавший изящество линий, ее синие глаза казались в нем еще синее), навстречу гостям вышла маленькая, уродливая старая карга и вперила свои иронически поблескивавшие глазки-бусинки в лучезарно прекрасную гостью. Они выпили чаю, поговорили и вскоре отправились обратно. Дорогой миссис Лангтри не проронила ни слова; Ферди заметил, что она тихо глотает слезы. Когда они вернулись домой, она поднялась к себе и вечером не спустилась к обеду. Ее впервые пронзила мысль, что красота смертна.

На прощание Ферди спросил у меня адрес и, когда я через несколько дней вернулся в Лондон, пригласил меня отобедать. Нас было шесть человек: американка — жена английского лорда, художник из Швеции, актриса и известный критик. Еда была отменная, напитки — превосходные. Беседа велась непринужденно и умно. После обеда Ферди упросили поиграть на рояле. Как я потом выяснил, он всегда играл только венские вальсы, они-то и составляли его особый репертуар, и легкая, напевная, чувственная музыка, казалось, идеально гармонировала с его осторожной фатоватостью. Играл он без малейшего надрыва, ритмично, с четкой фразировкой и прекрасным туше. Этим обедом началась длинная череда наших совместных трапез; он приглашал меня раза два-три в году, а со временем мы все чаще и чаще стали встречаться и на светских раутах. Мое положение в обществе упрочилось, а его, пожалуй, чуть-чуть пошатнулось. В последние годы я встречал его порою на приемах, где среди гостей бывали и другие евреи, и в его блестящих жидким блеском глазах, когда они на миг задерживались на лицах соплеменников, мелькало, как мне чудилось, добродушное удивление: куда, дескать, катится мир! Иные считали его снобом — по-моему, несправедливо: просто, волею обстоятельств, в ранней юности ему встречались одни лишь знаменитости. К искусству он питал подлинную страсть и в общении с его создателями поворачивался лучшей своей стороной. С ними он никогда не позволял себе той легкой дурашливости, какую напускал в разговорах с великими, наводя на мысль, что никогда не принимал их пресловутое величие за чистую монету. Вкус у него был рафинированный, и многие его друзья рады были воспользоваться его осведомленностью. Никто лучше Ферди не разбирался в старинной мебели, и благодаря ему было спасено немало ценных предметов обстановки, переместившихся с чердаков фамильных особняков на почетные места в гостиных. Он любил прохаживаться по аукционам и всегда был готов услужить советом важным дамам, которым хотелось сделать изысканную покупку и в то же время выгодно вложить деньги. Он был богат и добродушен. Ему нравилось покровительствовать искусству, и он не жалел трудов, чтобы раздобыть заказ для начинающего художника, чьим талантом восхищался, или приглашение в богатый дом для молодого виолончелиста, не имевшего другого случая выступить перед публикой. Но не подводил он и хозяев таких домов. Он отличался слишком хорошим вкусом, чтоб опуститься до обмана, и как ни бывал порою снисходителен к посредственности, он бы и пальцем не пошевелил, чтобы помочь человеку бесталанному. Собственные его музыкальные вечера проходили в узком, избранном кругу и доставляли истинное наслаждение.

Жены у него не было.

— Я человек светский, — говорил он, — и, льщу себя надеждой, без предрассудков: tous les goûts sont dans la nature,[[2]](#footnote-2) но я вряд ли смог бы жениться на иноплеменнице. Можно, конечно, явиться в оперу и в смокинге, ничего страшного. Но мне это просто в голову не придет.

— В таком случае почему бы вам не жениться на еврейке?

(Сам я не слышал этого разговора, но мне пересказала его та самая разбитная, дерзкая особа, которая и приступила с ним к Ферди.)

— Ах, моя дорогая, наши женщины так плодовиты. Мне невыносима сама мысль о том, что я могу наводнить мир крошкой Исааком, крошкой Иаковом, крошкой Ревеккой, крошкой Лией и крошкой Рахилью.

Однако в свое время у него были громкие любовные приключения, и он все еще жил в ореоле былых романтических подвигов. В молодости характер у него был влюбчивый. Я знавал пожилых дам, которые говорили мне, что он был неотразим, и, поддавшись нахлынувшим воспоминаниям, рассказывали, как та или иная женщина совершенно теряла из-за него голову, и, как ни удивительно, не находили для нее слов осуждения в своем сердце — столь велика была власть его красоты. Забавно было узнавать в высокородных дамах — героинях только что опубликованных мемуаров, или в почтенных пожилых матронах, всегда готовых поговорить об успехах своих внуков в Итоне и путавших карты за бриджем, — тех самых женщин, которых некогда снедала греховная страсть к красавцу еврею. Самой шумной любовной историей Ферди была связь с герцогиней Херефордской — обворожительной, любезной и бесшабашной красавицей конца викторианской эпохи. Их роман длился двадцать лет. Несомненно, за это время у Ферди случались и другие увлечения, но отношения с герцогиней оставались незыблемыми и общепризнанными. А когда они наконец расстались, он сумел превратить стареющую любовницу в верного друга, что свидетельствует о его несравненном такте. Недавно, помнится, я видел эту пару на ленче. Она была высокой старухой с величавой осанкой и со слоем краски на изношенном лице. Дело было в «Карлтоне», и Ферди, пригласивший меня и герцогиню, опоздал на несколько минут. Он предложил нам коктейль, но она отказалась, объяснив, что нам уже его подали.

— То-то я смотрю, у вас глаза блестят еще ярче обычного, — заметил он.

Старая увядшая женщина зарделась от удовольствия.

Молодость моя миновала, я вступил в средний возраст и стал задумываться о том, что скоро придется называть себя пожилым человеком. Я писал романы и пьесы, путешествовал, набирался опыта, влюблялся и охладевал, но все так же встречал Ферди на светских раутах. Разразилась и долго не кончалась война, миллионы людей погибли, изменился облик мира. Ферди не жаловал войны. Чтобы сражаться, он был слишком стар, немецкая его фамилия раздражала слух, но он проявил осторожность и обезопасил себя от унижений. Старые друзья были ему верны, и он избрал исполненное достоинства и не слишком строгое уединение. Но вот наступил мир, и Ферди мужественно старался не падать духом в изменившихся условиях. В обществе все смешалось, вечера проходили бурно, но Ферди приноровился к новой жизни. Он все так же рассказывал смешные еврейские анекдоты, так же прелестно играл вальсы Штрауса, так же расхаживал по аукционам и давал советы новым богачам, что следует купить. Я переехал за границу, но всякий раз, бывая в Лондоне, встречался с Ферди; правда, теперь в нем появилось что-то жутковатое: время не оставляло на нем следов. Во всю свою жизнь он не проболел и дня. Все так же элегантно одевался. Проявлял ко всему интерес. Сохранил живость ума. И его приглашали на обеды не из уважения к прошлому, а потому что он был полезным гостем. И он все так же устраивал прелестные маленькие концерты в своем доме на Керзон-стрит.

На одном таком музыкальном вечере я и сделал открытие, которое пробудило в памяти все, тут рассказанное. Мы ужинали в одном доме на Хилл-стрит, был большой прием, и, когда женщины поднялись наверх, мы с Ферди оказались рядом. Он сказал, что в пятницу вечером у него будет играть Лия Мэкерт и был бы рад меня видеть.

— Как жаль, — сказал я, — но я должен быть у Блэндов.

— Каких Блэндов?

— Суссекских, в усадьбе Тильби.

— Вот не думал, что вы их знаете.

Он как-то странно посмотрел на меня и засмеялся. Я не понял, что его так развеселило, и добавил:

— О, мы старые знакомые. У них чудный дом, очень гостеприимный.

— Адольф приходится мне племянником.

— Сэр Адольфус?

— Мы ведь говорим об одном из щеголей эпохи Регентства, не так ли? Да, не стану скрывать, наречен он был Адольфом.

— Все, кого я знаю, зовут его Фредди.

— Ну да, и, полагаю, его жена Мириам откликается только на имя Мюриел.

— Каким образом он может быть вашим племянником?

— Таким, что моя сестра Ханна Рабенстайн вышла замуж за Альфонса Блейкогеля, который под конец жизни стал сэром Альфредом Блэндом, первым баронетом, и их единственный сын Адольф в положенное время стал Адольфусом Блэндом, вторым баронетом.

— Так, значит, мать Фредди Блэнда, леди Блэнд, которая живет на Портленд-плейс, ваша сестра?

— Моя сестра Ханна. Старшая в семье. Ей восемьдесят лет, но она в полном здравии — и физически, и умственно, и вообще замечательная женщина.

— Ни разу ее не видел.

— Полагаю, ваши друзья Блэнды об этом позаботились. Она ведь так и не избавилась от своего немецкого акцента.

— Вы с ними видитесь?

— Мы не встречаемся уже двадцать лет. Ведь я весь такой из себя еврей, а они такие истые англичане. — Он улыбнулся. — Никогда не мог запомнить, что они теперь Фредди и Мюриел. Вечно выскакивал с Адольфом и Мириам в самую неподходящую минуту. К тому же им не по душе мои байки. Так что лучше было не встречаться. Ну, а когда началась война и я не изменил фамилию, это оказалось для них уже слишком. Но менять ее было, увы, поздно. Я не мог приучить своих друзей не думать о себе как о Ферди Рабенстайне, и меня это вполне устраивало. У меня не было дерзновенного желания именоваться Смитом, Брауном или Робинсоном.

Хотя он говорил шутливо, в его голосе слышна была (впрочем, не уверен: чересчур зыбким было ощущение) едва трепетавшая насмешка, и мне почудилось, как смутно чудилось и прежде, что в глубине его непроницаемой души живет циничное презрение к покоренным им иноплеменникам.

— Значит, вы никогда не видели его мальчиков? — полюбопытствовал я.

— Не случилось.

— Вы, конечно, знаете, что старшего зовут Джордж. По-моему, он не такой умный, как младший, Гарри, но очень обаятельный. Думаю, он бы вам понравился.

— А где он сейчас?

— Его только что отчислили из Оксфорда. Наверное, дома. А Гарри еще в Итоне.

— Почему бы вам не привести Джорджа ко мне на ленч?

— Я предложу ему. Думаю, он с удовольствием придет.

— До меня дошли слухи, что он, так сказать, трудный ребенок.

— Ну, не знаю, не сказал бы. Он не захотел в армию, как мечталось старшим. Они бредили гвардией. А он вместо этого поступил в Оксфорд. Но бездельничал, промотал уйму денег и вообще прожигал жизнь. Но все это в порядке вещей.

— А за что его исключили?

— Не знаю. Да ничего особенного.

В эту минуту наш хозяин поднялся, и все мы двинулись наверх. Прощаясь, Ферди напомнил, чтобы я не забыл про его внучатого племянника.

— Позвоните, — попросил он, — и приходите в среду. Или в пятницу.

На другой день я отправился в Тильби. Это был дворец в елизаветинском стиле, окруженный громадным парком, где бродили рыжие олени, и из дворцовых окон открывался широкий вид на холмистые просторы. Казалось, вся земля, сколько хватало глаз, принадлежит Блэндам. Надо думать, арендаторы считали сэра Адольфуса образцовым хозяином, ибо нигде мне не случалось видеть такого порядка на фермах: амбары и коровники блестели как стеклышко, свинарники были просто загляденье, трактиры словно сошли со старинных английских акварелей, а живописность построенных им коттеджей прекрасно дополнялась удобствами. Наверное, вести хозяйство с таким размахом стоило бешеных денег, но, к счастью, они у него были. За парком — могучими старыми деревьями (и полем для гольфа в девять лунок) — ухаживали, как за садом, а раскинувшиеся вокруг плодовые сады являлись гордостью округи. Величественное здание с островерхой крышей и двустворчатыми окнами было отреставрировано самым знаменитым английским архитектором и любовно, со знанием дела обставлено леди Блэнд в прекрасно подобранном стиле.

— У нас тут очень просто, — говорила она. — Самый обычный английский деревенский дом.

Столовую украшали старинные английские картины со сценами охоты, а чиппендейловские стулья стоили целое состояние. В гостиной висели портреты кисти Рейнолдса и Гейнсборо, а также пейзажи Старого Крома и Ричарда Уилсона. Даже на стенах моей спальни, в центре которой высилась кровать под пологом, красовались акварели Биркета Фостера. Дом был очень хорош, и гостить тут было удовольствием. Но, как бы ни огорчилась Мюриел Блэнд, узнай она об этом, дому странным образом недоставало именно того, чего она больше всего добивалась. Здесь и на миг не возникало ощущения, что это истинно английское жилище. Все время чувствовалось, что каждая мелочь тщательно подобрана и идеально вписывается в целое. В столовой не хватало унылых академических портретов, которые висели бы бок о бок с холстами Карло Дольчи, вывезенными прапрадедом из его первого европейского вояжа; в гостиной — многочисленных и трогательно неуместных акварелей какой-нибудь двоюродной бабушки. Не видно было также неизбежного уродливого викторианского дивана, который стоял бы тут с незапамятных времен и потому не мог быть выброшен (никому бы и в голову не пришло), недоставало стульев с вязаными салфетками, над которыми во времена Первой всемирной выставки усердно трудилась незамужняя дочь тогдашнего владельца. Здесь царила красота, но не было души.

И все же до чего тут было уютно, и как хорошо ухаживали за гостями! Как заботливо относились к ним Блэнды! Пожалуй, они и в самом деле любили людей. Они были великодушны и сердечны. Больше всего им нравилось собирать у себя жителей графства, и хотя поместье принадлежало им каких-нибудь лет двадцать, не больше, они надежно утвердились в сердцах соседей. Если бы не роскошь и не передовые способы ведения хозяйства, можно было подумать, что их предки владели поместьем на протяжении веков.

Фредди окончил Итон и Оксфорд. Сейчас ему было лет пятьдесят с небольшим. Приятный в обхождении, изысканный и, полагаю, чрезвычайно умный, держался он немного скованно. Он был замечательно элегантен, но как-то не по-английски. Седовласый, с седой бородкой клинышком, прекрасными темными глазами и орлиным носом, хорошего мужского роста, он больше напоминал важного иностранного дипломата, чем еврея. Личность волевая, он почему-то, несмотря на сопутствовавшую ему всегда удачу, навевал меланхолию. Успехи его лежали в сфере финансов и политики; по части же охоты он, несмотря на все свои старания, никогда не блистал. Хотя он много лет выезжал с гончими, наездником был никудышным и, наверное, испытал облегчение, внушив себе в конце концов, что из-за неотложных дел и солидного возраста вынужден оставить это занятие. У него бывали прекрасные охотничьи выезды, и тогда он устраивал великолепные приемы, но сам стрелял неважно и, несмотря на собственное поле в парке, немногого добился в гольфе, так и не став страстным любителем. Однако он слишком хорошо знал, как высоко ценится все это в Англии, и потому горько сокрушался из-за своих спортивных неудач. Но ничего, Джордж призван был искупить его разочарование.

В гольфе Джордж не знал себе равных, и хотя не слишком жаловал теннис, игроком был выше среднего; Блэнды дали ему ружье, как только он достаточно подрос, чтоб удержать его в руках, и из него вышел отличный стрелок; на пони его усадили в двухлетнем возрасте, и, наблюдая за тем, как он садится в седло, Фредди понимал, что в тот миг, когда собака делает стойку, мальчик испытывает восторг, а не противное сосущее чувство где-то под ложечкой, которое всегда превращало для него, Фредди, охоту в сущую пытку, с каким бы мрачным упорством он ни преследовал лису. Джордж был такой высокий, статный, красивый, голубоглазый, с такими прекрасными светло-каштановыми кудрями — просто совершенный образчик молодого англичанина. И как и положено таковому, отличался подкупающим чистосердечием. Нос у него был прямой, правда, немножко толстоватый, губы тоже слишком пухлые и чувственные, но ровные зубы сверкали белизной, а гладкая кожа напоминала оттенком слоновую кость. Он был светом отцовских очей. Своего младшего сына Фредди любил не в пример меньше. Коренастый и широкоплечий, Гарри был силен для своего возраста, но светившиеся умом черные глаза, жесткие, темные волосы и длинный нос выдавали его происхождение. Фредди обращался с ним сурово, порою даже нетерпеливо, а Джорджу все прощалось. Гарри предстояло войти в дело, у него для этого были и мозги, и хватка, а Джордж — наследник. Джордж будет английским джентльменом.

Отец подарил ему на день рождения дорожный велосипед, и Джордж предложил подвезти меня от станции. Катил он страшно быстро, и мы добрались раньше других гостей. Блэнды сидели на лужайке, чай был накрыт под могучим кедром.

— Кстати, — объявил я почти сразу, — на днях я видел Ферди Рабенстайна, и он просил привести к нему на ленч Джорджа.

По дороге я не стал говорить Джорджу о приглашении, ибо полагал, что раз в семейных отношениях царит холод, лучше сначала спросить у родителей.

— А это еще кто такой? — удивился Джордж.

Как преходяща людская слава! Двадцать — тридцать лет назад подобный вопрос показался бы неумной шуткой.

— В своем роде твой дедушка. Двоюродный.

Как только я упомянул имя Ферди, родители многозначительно переглянулись.

— Кошмарный старик, — бросила Мюриел.

— По-моему, Джорджу совершенно незачем возобновлять отношения, которые были полностью прерваны еще до того, как он родился, — сурово отрезал Фредди.

— Мое дело — передать порученное, — сказал я, чувствуя, что меня поставили на место.

— Не желаю знакомиться с этим господином, — заявил Джордж.

Тут появились остальные гости, и разговор сам собою прервался, а потом Джордж пошел играть в гольф с каким-то своим оксфордским приятелем.

Тема эта всплыла снова лишь на следующий день. Утром мы с Фредди сыграли бесцветную партию в гольф, после полудня — несколько сетов того, что называют дачным теннисом, после чего я устроился на террасе напротив уединившейся там Мюриел. В Англии так часто стоит ненастная погода, что только справедливо, чтобы выдавшийся погожий денек был самым прекрасным на всем белом свете, и этот июньский вечер был само совершенство. Безоблачное небо сияло, воздух благоухал, перед нами простирались зеленые холмы и леса, а вдали виднелись красные крыши домиков и серая башня сельской церкви. В такой день жить на свете — само по себе счастье. В голове лениво проплывали обрывки стихов. Мы с Мюриел перескакивали с одной темы на другую.

— Надеюсь, вы не осуждаете нас за то, что мы не хотим пускать Джорджа к Ферди, — вырвалось вдруг у нее без всякой связи с предыдущим. — Он ведь ужасный сноб, правда?

— Разве? Никогда не замечал, он всегда был очень добр ко мне.

— Мы уже двадцать лет не видимся. Фредди так и не простил ему его поведения во время войны. По-моему, это так непатриотично, в конце концов, всему есть предел. Вы, наверное, знаете, он наотрез отказался менять свою немецкую фамилию. И это при том, что Фредди член парламента и отвечал за вооружение. Да и все остальное тоже просто немыслимо. Не знаю, зачем ему понадобился Джордж. Ферди не может ничего к нему чувствовать.

— Он старый человек, а Джордж и Гарри — его внучатые племянники. Должен же он кому-то оставить деньги.

— Уж лучше мы обойдемся без его денег, — холодно парировала Мюриел.

Мне, разумеется, было совершенно все равно, пойдет Джордж на ленч к Ферди Рабенстайну или нет, и хотелось только одного: чтобы Блэнды больше не заговаривали со мной на эту тему, но они, видимо, обсуждали ее между собой, и Мюриел считала, что обязана мне отчетом.

— Вы ведь знаете, у Ферди есть еврейская кровь, — обронила она.

И бросила на меня пронзительный взгляд. Мюриел была довольно крупной блондинкой, склонной к полноте и тратившей немало времени, чтоб обуздать ее. В молодости она была очень хороша собой и все еще сохраняла миловидность, но ее круглые голубые, чуть навыкате глаза, мясистый нос, характерный овал лица, линия затылка и излишняя экзальтация свидетельствовали о ее национальности, — англичанка, даже самая светловолосая, выглядела бы совсем иначе. Однако ее реплика была рассчитана на то, что я, само собой, считаю ее англичанкой. Я ответил осторожно:

— Теперь это нередкий случай.

— Конечно. Тут не о чем долго рассуждать. В конце концов, мы англичане. Нельзя быть больше англичанином, чем Джордж, — и внешне, и по манерам, и по всему. Я хочу сказать, что он прекрасный охотник и все прочее. Не вижу никакого резона в том, чтобы он знался с евреями. Что из того, что кто-то из них доводится ему дальним родственником?

— Сегодня в Англии трудно не знаться с евреями, не так ли?

— Ну да, в Лондоне с ними постоянно встречаешься. И среди них попадаются очень милые люди. Такая артистичная нация. Не стану говорить, что мы с Фредди нарочно их избегаем, — это было бы уж слишком. Но просто так сложилось, что никого из них мы не знаем близко. А тут просто и нет никого такого.

Я не мог не восхищаться убедительностью ее речей. И ничуть бы не удивился, если бы мне сказали, что она искренне верит каждому произнесенному ею слову.

— Вы говорите, что Ферди может завещать Джорджу свои деньги. Кстати говоря, навряд ли у него их так уж много. Перед войной у него было приличное состояние, но в наше время это уже ничто. Кроме того, мы надеемся, что Джордж пойдет в политику, когда немного возмужает. Вряд ли его избирателям понравится, если он будет наследником некоего мистера Рабенстайна.

— Разве Джордж интересуется политикой? — задал я встречный вопрос, чтобы уйти от разговора.

— О, очень на это уповаю. В конце концов, у семьи есть свой избирательный округ. Верное место от партии консерваторов. Не будет же Фредди всю жизнь тянуть лямку в палате общин!

Мюриел была неподражаема. О семейном избирательном округе она говорила так, словно его представляли уже двадцать поколений Блэндов. Однако в ее словах я впервые уловил намек на то, что честолюбие Фредди не удовлетворено.

— Должно быть, Фредди перейдет в палату лордов, когда Джордж достаточно повзрослеет, чтобы стать членом парламента?

— Партия многим нам обязана.

Мюриел была католичкой и любила вспоминать, что воспитывалась в монастыре: «Чудесный народ эти монахини. Я всегда говорила, что, если бы у меня была дочь, я бы тоже послала ее в монастырь». Однако ей нравилось, чтобы ее прислуга принадлежала к англиканской церкви, и воскресными вечерами нас угощали тем, что называлось «ужин»: холодной рыбой и мороженым на десерт, так как слуг отпускали в церковь. Вот и в тот вечер нам подавали два лакея вместо четверых. Когда трапеза закончилась, было еще светло, и, закурив сигары, мы с Фредди долго прогуливались по террасе в сгущавшихся сумерках. Полагаю, Мюриел пересказала ему наш разговор; видимо, его все еще беспокоило, что он запретил Джорджу встречаться с двоюродным дедом, но, будучи натурой более тонкой, чем супруга, Фредди завел об этом речь издалека. Он стал говорить, что его очень тревожит Джордж. Отказ служить в армии страшно разочаровал семью.

— Мне кажется, ему должна бы прийтись по вкусу такая жизнь, — произнес Фредди.

— А как бы ему пошел гвардейский мундир!

— Может, он еще согласится? — простодушно подхватил Фредди. — Не понимаю, как он сумеет побороть искушение.

В Оксфорде Джордж предавался полному безделью и, хотя отец назначил ему весьма приличное содержание, залез в чудовищные долги; в довершение всех бед, его исключили. Но хотя Фредди говорил об этом с явной досадой, видно было, что он очень гордится своим шалопаем сыном, которого любит страстной — не по-английски страстной — любовью, и в глубине души ему льстит, что сын у него такой удалец.

— Почему это вас так огорчает? — удивился я. — Ведь на самом деле вам не так уж важно, получит Джордж диплом или нет.

— Вообще-то говоря, совсем не важно, — подтвердил со смешком Фредди. — Я всегда считал, что Оксфорд нужен только затем, чтоб люди знали, что вы там были. И позволю себе заметить, Джордж ничуть не больше сорвиголова, чем остальные юноши его круга. Меня если что и беспокоит, так это будущее. Он чертовски ленив. По-моему, он вообще ничего не хочет, только веселиться.

— Ну, он еще очень молод.

— Политикой он не интересуется. Он очень спортивен, по спорт тоже его не интересует. Единственное, что он всегда готов делать, это бренчать на пианино.

— Довольно безобидное занятие.

— Да, ничего не имею против, но не может же он бить баклуши бесконечно. Ведь в один прекрасный день все это перейдет к нему. — И Фредди описал рукой широкий круг, словно желал обнять все графство (но мне доподлинно известно, что он владел им лишь частично). — Я очень беспокоюсь — он должен быть готов взять на себя ответственность. Мать так гордится им, а я хочу только одного: чтобы он стал английским джентльменом.

Фредди посмотрел на меня искоса, словно хотел прибавить что-то еще, но побоялся, что я сочту его слова смешными. Однако у писателей есть преимущество перед всеми остальными: хотя люди считают, что дело это самое пустое, они часто говорят нам то, в чем никогда не признались бы равным по положению. И он решил рискнуть:

— Знаете, я нахожу, что в современном мире греческий идеал жизни ни в ком не воплощается так полно, как в английском сельском джентльмене, который возделывает свои земли. По-моему, такая жизнь прекрасна, как произведение искусства.

Я не мог не улыбнуться, ибо в наши дни английский сельский джентльмен не может и шагу ступить, если не вложит кругленькую сумму в американские облигации, — но улыбнулся я сочувственно. Мне подумалось, что есть даже что-то трогательное в том, что еврей-финансист лелеет в груди такую романтическую грезу.

— Я хотел, чтобы он стал хорошим помещиком. Хотел, чтобы он участвовал в делах своей страны. Хотел, чтобы из него получился заправский охотник.

«Остолоп несчастный!» — подумал я, но вслух спросил:

— Ну, и какие планы у вас теперь насчет Джорджа?

— Вроде бы у него есть склонность к дипломатии. Мы думаем послать его в Германию — учить язык.

— Отличная мысль! Как я сам не додумался!

— Он почему-то вбил себе в голову, что хочет в Мюнхен.

— Прекрасное место!

Вернувшись на другой день в Лондон, я почти тотчас позвонил Ферди:

— Мне очень жаль, но Джордж не сможет прийти в среду на ленч.

— А в пятницу?

— И в пятницу тоже. — Я решил, что тут незачем разводить антимонии. — Дело в том, что его родители не в восторге от этой идеи.

На миг повисло молчание, потом он сказал:

— Понятно. Но вы ведь все равно придете?

— Надеюсь.

Итак, в среду, в половине второго я свернул к дому на Керзон-стрит. Ферди встретил меня с подчеркнутой любезностью, столь для него характерной. Он даже не упомянул о Блэндах. Мы расположились в гостиной, и я не мог не подивиться про себя безошибочному вкусу этой семьи в выборе предметов искусства. В зале их было больше, чем следовало по законам современной моды, но если золотые табакерки за стеклянными дверцами и французские фарфоровые безделушки не радовали мой взор, то потому лишь, что у меня другие пристрастия в искусстве, хотя в своем роде то были, безусловно, отборные экземпляры; гостиничный гарнитур Людовика XV в прелестную petit point,[[3]](#footnote-3) должно быть, тоже стоил кучу денег. Однако, если висевшие на стенах работы Ланкре, Патера и Ватто не слишком меня трогали, я тем не менее не мог не видеть, как они хороши сами по себе. То было подходящее обрамление для этого старого великосветского денди, оно отвечало его времени. Вдруг отворилась дверь, и слуга доложил о приходе Джорджа. Ферди заметил мое удивление и торжествующе улыбнулся.

— Очень рад, что вы в конце концов смогли прийти, — сказал он, пожимая Джорджу руку.

Я заметил, что он окинул своего внучатого племянника, которого видел впервые в жизни, оценивающим взглядом. Джордж был очень элегантно одет: в короткий черный пиджак, брюки в полоску и двубортный жилет — по последнему слову моды. Такие жилеты хорошо выглядели только на высоких, худощавых, с немного впалым животом. Я ничуть не сомневался, что Ферди уже определил, у кого Джордж заказывает платье, где покупает белье и галстуки, и, оценив, одобрил его выбор. Такой изящный и лощеный, в ловко сидевшем на нем костюме, Джордж и впрямь был чудо как хорош. Мы перешли в столовую. У Ферди был природный дар общения, и юноша почувствовал себя в своей стихии, но от меня не ускользнуло, что Ферди внимательно к нему приглядывается, и вдруг, не знаю уж почему, он стал рассказывать еврейские анекдоты. Рассказывал он их со смаком, с обычными своими выразительными гримасами и жестами. Я видел, что Джордж вспыхнул и, хотя не может удержаться от смеха, сгорает со стыда. Я не мог понять, какая муха укусила Ферди, чем вызвана его бестактность. А тот, не спуская глаз с Джорджа, нанизывал одну историю на другую. Казалось, этому не будет конца. Может быть, подумалось мне, по какой-то недоступной моему разумению причине, муки мальчика доставляют ему злорадное удовольствие. Наконец мы поднялись наверх, и я, чтобы снять напряжение, попросил Ферди сыграть. Он сыграл три или четыре небольших вальса все с той же грациозной легкостью, в привычном чеканном ритме. Закончив, он обернулся к Джорджу.

— Вы играете? — спросил он.

— Да, немного.

— Может быть, сыграете нам что-нибудь?

— Я, к сожалению, играю только классику. Вам это, наверное, неинтересно.

Губы Ферди дрогнули в улыбке, но он и не подумал настаивать. Я стал собираться домой, и Джордж присоединился ко мне.

— Что за мерзкий старый еврей! — вырвалось у него, как только мы оказались на улице. — Меня просто мутило от его анекдотцев.

— Это его коронный номер. Он всегда их рассказывает.

— А вы бы тоже рассказывали, если бы были евреем?

Я лишь пожал плечами.

— А как случилось, что вы все-таки пришли на ленч? — поинтересовался я.

Джордж прыснул. Жизнерадостный мальчик, с чувством юмора, он сразу забыл свое раздражение против двоюродного деда.

— Он пришел с визитом к бабушке. Вы ведь не видели бабушку, правда?

— Нет, ни разу.

— Она командует папой, словно мальчиком в коротких штанишках. Бабушка сказала, что я должен пойти на ленч к деду Ферди, а ее слово — закон.

— Вот оно что.

Неделю-другую спустя Джордж уехал в Мюнхен — учиться немецкому языку. А мне пора было отправляться в путешествие. В Лондон я возвратился лишь весной следующего года и уже через несколько дней сидел на обеде у Блэндов рядом с Мюриел. Я осведомился, как дела у Джорджа.

— Он еще в Германии, — последовал ответ.

— Я тут прочел в газетах, что в Тильби будет великий пир в честь его совершеннолетия.

— Мы думаем позвать всех арендаторов, а они, со своей стороны, собираются сделать Джорджу подарок.

Она была менее говорлива, чем обычно, но я не придал этому значения. Ритм жизни у нее был напряженный, — скорее всего она просто устала. Но я знал, что она любит поговорить о сыне, и потому продолжал:

— Джорджу, наверное, нравится в Германии?

Она долго не отвечала. Я перевел на нее взгляд и с удивлением заметил, что в глазах у нее стоят слезы.

— По-моему, Джордж сошел с ума.

— Как это понять?

— Мы страшно волнуемся. Фредди так сердится, что даже не хочет об этом говорить. Не знаю, что и делать.

Мне, конечно, тут же пришло в голову, что Джордж, как и очень многие молодые англичане, которые уезжают учиться за границу, оказавшись в немецкой семье, скорее всего влюбился в дочку хозяев и вознамерился жениться. Блэнды же, как я сильно подозревал, рассчитывали, что Джордж сделает блестящую партию.

— А что случилось? — поинтересовался я.

— Он хочет стать пианистом.

— Кем-кем?

— Концертирующим пианистом.

— Откуда такая странная идея?

— Бог его знает. Мы ничего не подозревали. Считали, что он готовится к экзамену. Я поехала с ним повидаться. Думала, приятно будет убедиться, что он делает успехи, как положено. О Господи, на кого он стал похож! А какой был всегда элегантный, просто плакать хочется. Он сказал мне, что не собирается сдавать экзамен и никогда не собирался, что дипломатическую службу он выдумал, чтобы мы отпустили его в Германию, потому что хочет заниматься музыкой.

— А способности у него есть?

— Есть, нет, какая разница! Будь он даже гениален, как Падеревский, мы все равно не можем ему позволить колесить с концертами. Никто не вправе обвинить меня в том, что я не люблю искусство, и Фредди тоже, у нас всегда было много знакомых музыкантов, но Джордж должен занять такое положение, что это просто исключается. Мы так мечтали, что он будет заседать в парламенте. Ведь со временем он станет очень богатым человеком.

— А вы ему говорили все это?

— Конечно. Он только смеялся в ответ. Я сказала, что он разобьет отцу сердце. А он стал мне объяснять, что отец всегда может переключиться на Гарри. Я очень люблю Гарри, он чертовски умный мальчик, всегда было ясно, что его дело — бизнес, но даже я, его мать, вижу, что у него нет таких козырей, как у Джорджа. И знаете, что он мне на это ответил? Что если отец положит ему пять фунтов в неделю, он откажется от всего в пользу Гарри и к Гарри перейдет отцовское наследство, титул баронета и все-все. Он сказал, что если уж наследный принц Румынии отрекся от трона, почему бы ему не отречься от баронетства. Но это невозможно. Что бы он ни вытворял, он все равно будет третьим баронетом, а если Фредди удостоится звания пэра, унаследует его по смерти отца. Вы можете себе представить, он даже хочет вместо фамилии Блэнд взять какую-то кошмарную немецкую фамилию!

— Какую именно? — не удержался я.

— Блейкогель или что-то в этом роде, — пробормотала она.

Я тотчас сообразил, что это за фамилия. Мне вспомнились слова Ферди о том, что Ханна Рабенстайн вышла замуж за Альфонса Блейкогеля, который впоследствии стал сэром Альфредом Блэндом, первым баронетом. Все это было в высшей степени странно. Я подивился про себя, что приключилось с милым и притом типично английским юношей, которого я видел всего каких-нибудь несколько месяцев назад.

— Конечно, когда я вернулась домой и рассказала Фредди, он вышел из себя. Никогда не видела его в таком неистовстве. Он просто брызгал слюной от бешенства. И тут же отправил Джорджу телеграмму, чтобы тот немедленно ехал домой, а Джордж тоже прислал телеграмму, что не может бросить занятия.

— Он много занимается?

— Целыми днями. Это-то и бесит больше всего. Он в жизни своей пальцем о палец не ударил. Фредди всегда говорил, что лень раньше его родилась.

— Н-да.

— Тогда Фредди телеграфировал, что, если он не приедет, не получит больше денежных переводов, а Джордж телеграфировал в ответ: «И не надо». Это переходит все границы. Не представляю, на что способен Фредди, если довести его до белого каления.

Я знал, что Фредди унаследовал большое состояние, знал также, что он его заметно приумножил, и я прекрасно мог себе представить, что за внешним обликом обходительного и приветливого сквайра Тильби скрывается безжалостный делец. Он привык все делать по-своему, и легко верилось, что, когда ему перечат, он бывает крут и беспощаден.

— Джордж получал от нас очень щедрое содержание. Вы же знаете, каким он был ужасным мотом. Мы думали, он долго не продержится. И в самом деле, не прошло и месяца, как он написал Ферди и попросил взаймы сто фунтов. Ферди явился к моей свекрови — вы, наверное, знаете, она его сестра, — и спросил, что все это значит. Хотя они с Фредди уже двадцать лет не разговаривают, Фредди отправился к нему домой и умолял не высылать Джорджу ни пенса, и Ферди обещал. Не знаю, как Джордж сводит концы с концами. Я понимаю, что Фредди прав, но не нахожу себе места. Если б я не дала Фредди честное слово, что ничего не буду посылать в Мюнхен, я бы вложила в письмо банкноту-другую, просто на крайний случай. Понимаете, страшно подумать, что он иногда недоедает.

— Ему не повредит скромная жизнь.

— Мы попали в жуткий переплет. Сделали кучу всяких приготовлений, чтобы отпраздновать его совершеннолетие, я разослала несколько сот пригласительных билетов, и тут Джордж заявляет, что приезжать не собирается. У меня просто голова пошла кругом. Я писала, посылала телеграммы. Сама хотела поехать в Германию, но Фредди меня не пустил. Я буквально ползала перед Джорджем на коленях. Умоляла не ставить нас в дурацкое положение. Понимаете, такие вещи очень трудно объяснить. Тут вмешалась моя свекровь. Вы ведь, кажется, с ней не знакомы? Ей очень много лет, невозможно поверить, что она родила Фредди. Она немка по национальности, но из очень хорошей семьи.

— Вот как?

— Честно говоря, я ее побаиваюсь. Она живо привела Фредди в чувство, а потом отправила Джорджу письмо. Написала, что, если он приедет домой на совершеннолетие, уплатит все его мюнхенские долги и обещает, что мы спокойно выслушаем все, что он хочет сказать. Он согласился и должен приехать на следующей неделе. Но скажу вам по секрету, я ничего хорошего от этого не жду.

Она глубоко вздохнула.

Когда после обеда мы поднимались наверх, Фредди заговорил со мной:

— Я так понимаю, Мюриел рассказала вам о Джордже. Болван стоеросовый! Он меня выводит из себя. Подумать только, желает барабанить на рояле! Отличное занятие для джентльмена!

— Не забывайте, он еще очень молод, — сказал я, желая его успокоить.

— Ему чересчур легко все доставалось. Я всегда слишком потакал ему. Он ни в чем не знал отказа — что ни попросит, тут же и получит. Но теперь он у меня узнает, что к чему.

Блэнды с опаской отнеслись к рекламе праздника, и о том, что совершеннолетие Джорджа прошло в Тильби в полном соответствии с обычаями местной знати, я узнал из газет задним числом: обед и бал — для местного дворянства, холодные закуски в палатках и танцы на лужайках — для арендаторов. В Лондоне были заказаны дорогостоящие оркестры. В иллюстрированных журналах появились групповые фотографии Джорджа с семьей в момент вручения ему арендаторами добротного серебряного чайного набора. Собранные по подписке деньги предназначались на портрет именинника, но, поскольку его не было в Англии и позировать он не мог, вместо портрета был приобретен серебряный сервиз. В колонках светских сплетен я прочел, что отец подарил ему гунтера, мать — граммофон с автоматическим регулятором для переворачивания пластинок, бабушка, вдовствующая леди Блэнд, — «Британскую энциклопедию», а двоюродный дедушка Ферди Рабенстайн — «Мадонну с младенцем» Пеллегрино да Модена. Бросалось в глаза, что все подарки отличались массивностью — такие трудно сразу обратить в наличность. Коль скоро Ферди присутствовал на празднестве, я заключил, что сумасбродные выходки Джорджа способствовали примирению дяди и племянника. И не ошибся. Ферди отнюдь не улыбалось стать родственником профессионального музыканта. При первом же намеке на опасность для семейного престижа все сплотились, чтобы единым фронтом противостоять затеям Джорджа. Поскольку на празднике меня не было, о дальнейшем я знаю лишь из пересказов: что-то рассказал мне Ферди, что-то — Мюриел, потом и Джордж изложил свою версию событий. Блэнды очень уповали на то, что, вернувшись домой, снова попав в обстановку роскоши и изобилия и вновь став центром внимания, он сам поймет, как хорошо быть наследником громадного имения, и сдаст позиции. Они окружили его любовью. Ловили каждое слово. Зная его сердечную доброту, надеялись, что, если будут с ним ласковы, ему не хватит духу причинить им боль. Вроде бы само собою разумелось, что он не захочет возвращаться в Германию, и о чем бы ни шла речь, его включали в семейные планы. Джордж, в свою очередь, был не слишком словоохотлив. Он вроде бы веселился от души. Не подходил к роялю. Можно было подумать, что все идет прекрасно. На перебудораженное семейство снизошел мир. И вдруг однажды за завтраком, когда обсуждалось, в какой именно день недели их семью ждут на празднике под открытым небом, Джордж мягко предупредил:

— На меня не рассчитывайте. Я уезжаю.

— Как, почему? — взволновалась его мать.

— Пора вернуться к занятиям. В понедельник я уезжаю в Мюнхен.

Повисло страшное молчание: каждый порывался что-то сказать, но слишком боялся произнести что-нибудь не то, и чем дальше, тем труднее становилось нарушить тишину. До конца завтрака никто не сказал ни слова. Затем Джордж отправился в сад, а старшая леди Блэнд с Ферди и Мюриел с сэром Адольфусом перешли в утреннюю залу, где состоялся семейный совет. Мюриел рыдала. Фредди неистовствовал. И вдруг из гостиной донесся ноктюрн Шопена. Это играл Джордж. Видимо, объявив им о своем решении, он обратился к любимому инструменту за утешением, умиротворением и силой. Фредди сорвался с места:

— Пусть сейчас же прекратит этот шум! — закричал он. — Я не позволю ему играть в моем доме!

Мюриел позвонила в колокольчик и отдала распоряжение горничной:

— Передайте, пожалуйста, мистеру Блэнду, что у ее милости леди Блэнд страшно болит голова и мы просим его не играть.

Ферди как светского человека откомандировали вести переговоры. Он был уполномочен сделать определенные предложения. Если Джордж не хочет идти на дипломатическую службу, отец на этом не настаивает, но, если он пожелает баллотироваться в парламент, отец готов оплатить избирательную кампанию, купить ему квартиру в Лондоне и выплачивать пять тысяч в год. Должен признать, недурственное предложение. Не знаю, что именно Ферди сказал юноше. Наверное, рисовал радужную картину того, на какую широкую ногу живут в Лондоне молодые люди с такими деньгами. Не сомневаюсь, что картина получилась очень соблазнительная. Но Джордж не дрогнул. Просил он только об одном: чтобы ему давали пять фунтов в неделю на уроки и оставили в покое. Его не интересовало положение, которое он может занять в будущем. Не привлекала охота. Не волновала стрельба. Не нужно было место в парламенте. Не нужны миллионы. Не нужен титул баронета. И не нужно звание пэра. Ферди вышел от него явно взбешенный, так ничего и не добившись.

В тот же вечер после обеда произошло генеральное сражение. Фредди был человеком вспыльчивым и деспотичным — он не привык к неповиновению и грубо обругал Джорджа. Полагаю, в самом деле очень грубо. И резко оборвал женщин, пытавшихся хоть как-то смягчить его тон, наверное, впервые в жизни проявив сыновнее непослушание. На брань Джордж отвечал упрямством и угрюмостью. Решение принято, и, нравится оно отцу или нет, отступать он не намерен. Фредди не желал ничего слушать: он запрещает Джорджу возвращаться в Германию! Джордж напомнил, что ему уже двадцать один год и он сам себе хозяин. Поедет, куда считает нужным. Фредди поклялся, что не даст ему ни пенни.

— Чудно, я сам себе заработаю.

— Заработаешь? Ты, который в жизни шагу лишнего не сделал? Чем же, интересно, собираешься ты зарабатывать?

— Стану старьевщиком, — расхохотался Джордж.

Они просто онемели от ужаса. Мюриел так растерялась, что выпалила, не подумав:

— Как евреи?

— А что, разве я не еврей? А ты? Ты что, не еврейка? А папа не еврей? Мы все евреи, вся наша теплая компания, и все это прекрасно знают. Какого дьявола прикидываться, что это не так?

И тут случилось страшное: Фредди разрыдался. Боюсь, он повел себя отнюдь не как сэр Адольфус Блэнд, баронет, член парламента и добрый старый английский джентльмен, которым ему так хотелось быть, а как чрезмерно эмоциональный Адольф Блейкогель, который любил своего сына и плакал от горькой обиды, ибо великие надежды, которые он полагал в нем, разбились вдребезги и мечта всей его жизни пошла прахом. Рыдал он шумно, громко всхлипывая, дергая себя за бороду, ударяя кулаками в грудь и раскачиваясь из стороны в сторону. Тут все они заплакали: и старая леди Блэнд, и Мюриел, и Ферди, который шмыгал носом, сморкался и утирал слезы, струившиеся по щекам, и даже Джордж. Конечно, всем им было очень больно, но на наш суровый англо-саксонский вкус это не лишено было доли комизма. Никто никого не пытался утешать. Они заливались слезами и не могли остановиться. Вечер был испорчен.

Однако это ничего не изменило. Джордж был непреклонен. Отец перестал с ним разговаривать. Сцены продолжались. Мюриел пыталась воззвать к сыновней жалости, но Джордж оставался глух к ее слезным мольбам; казалось, ему ни до чего нет дела: пусть его решение разобьет ей сердце, пусть убьет отца — его это не трогает. Как спортсмен и светский человек, Ферди пробовал зайти с другой стороны — Джордж в ответ дерзил, позволял себе личные выпады. Старая леди Блэнд, с помощью крепкого здравого смысла и по-немецки гортанных речей, пыталась переспорить внука, но он не поддавался доводам рассудка. И все-таки это она, в конце концов, нашла выход из положения. Она заставила Джорджа признать, что в случае, если у него нет таланта, глупо бросаться теми чудесными дарами, которые мир готов сложить к его ногам. Да-да, он верит, что талант у него есть, но вдруг он ошибается? Не стоит быть посредственным пианистом, единственное, что его может извинить и оправдать, — это гениальность. Если он гениален, семья не вправе становиться у него на пути.

— Но я же не могу продемонстрировать свою гениальность прямо сейчас, — возразил Джордж. — Для этого нужно учиться годы и годы.

— А ты уверен, что готов на такое?

— Это мое единственное желание. Я буду работать как вол. Я хочу только одного — чтобы мне дали попробовать.

Тогда она предложила следующее. Отец твердо решил, что не даст ему ни пенни, но, с другой стороны, ясно, что семья не может допустить, чтобы мальчик голодал. Он просит пять фунтов в неделю. Хорошо, она сама даст ему эти деньги. Пусть вернется в Германию и занимается еще два года. Но когда выйдет срок, он должен приехать домой, они пригласят какого-нибудь понимающего и беспристрастного человека прослушать его, и если этот человек скажет, что Джорджа ожидает блестящая будущность, никто больше не будет чинить ему препятствий. Ему окажут всяческую помощь и поддержку и предоставят самые лучшие возможности. Но если, с другой стороны, этот человек решит, что природные способности Джорджа не обещают в будущем триумфа, он должен дать честное слово, что оставит всякую мысль о профессиональных занятиях музыкой и во всем подчинится воле отца.

Джордж просто ушам своим не поверил.

— Ты это серьезно, бабушка?

— Вполне.

— А папа согласится?

— Я об этом позабочусь, — ответила она.

Джордж сжал ее в объятиях и порывисто расцеловал в обе щеки.

— Бабушка, дорогая! — завопил он от радости.

— Да-да, но слово, твое слово...

Он клятвенно обещал, что будет неукоснительно следовать всем условиям договора. И через два дня уехал в Германию. Хотя отец и согласился — очень неохотно — с его отъездом (да и как он мог не согласиться?), помириться с сыном он отказался наотрез и не захотел проститься. Полагаю, что никаким другим способом он не мог причинить себе столько боли. Позволю себе сделать одно банальное замечание: не странно ли, что люди, которым суждено жить так недолго, в таком холодном и враждебном мире, из кожи вон лезут, чтобы навлечь на свою голову побольше горя?

Джордж поставил условие, чтобы в течение двух лет учебы никто из членов семьи не навещал его, и потому Мюриел, узнав, что в Вену (куда меня призывали дела) я еду через Мюнхен, вполне естественно, попросила проведать сына — это было за несколько месяцев до конца назначенного Джорджу срока. Ей хотелось получить сведения из первых рук. Она сообщила его адрес, и я заранее написал ему, что проведу день в Мюнхене и приглашаю его на ленч. Когда я приехал в гостиницу, мне тотчас вручили ответ Джорджа. Он писал, что должен играть весь день и не может прерваться на ленч, но, если я приду к нему в студию часов в шесть, он с радостью меня примет и, если у меня нет более заманчивых планов, с удовольствием проведет со мной вечер. Таким образом, в начале седьмого я прибыл по указанному адресу. Джордж жил на третьем этаже большого доходного дома. Из его квартиры доносились звуки фортепьяно. Когда я позвонил, они смолкли, и Джордж распахнул двери. Я с трудом его узнал. Он страшно растолстел. Отпустил длинные волосы, курчавившиеся на голове в живописном беспорядке, щеки украшала по меньшей мере трехдневная щетина. На нем были заношенные широкие фланелевые штаны, тенниска и домашние шлепанцы. Вид у него был какой-то несвежий, и под ногтями чернели каемки грязи. Как разительно переменился со времени нашей последней встречи опрятный, стройный юноша, так элегантно выглядевший в своем прекрасном костюме! Мне невольно подумалось, что Ферди пришел бы в ужас, посмотри он на него сейчас. Студия была просторная и пустая; на стенах висело несколько необрамленных холстов, выполненных в ярко выраженной кубистической манере, на полу стояло несколько очень потрепанных кресел и большой рояль. Всюду валялись книги, старые газеты и художественные журналы. Комната была грязная, неприбранная, пропахшая перестоявшим пивом и застоявшимся табачным дымом.

— Вы один тут живете? — спросил я.

— Да. Дважды в неделю приходит уборщица. Завтрак и ленч я готовлю себе сам.

— Вы умеете готовить?

— Да нет, обхожусь хлебом с сыром и бутылкой пива, а обедаю в Bierstube.[[4]](#footnote-4)

Я с удовольствием заметил, что он искренне рад нашей встрече. Мне показалось, что он в прекрасном настроении и совершенно счастлив. Он справился о родных, и мы стали болтать о том о сем. Он сказал, что два раза в неделю ходит на урок, а все остальное время упражняется дома. Признался, что работает до десяти часов в день.

— Какое перерождение! — заметил я.

Он рассмеялся.

— Папа всегда говорил, что лень раньше меня родилась. Но на самом деле это неправда. Просто не хочется стараться, когда занимаешься чем-то неинтересным.

Я полюбопытствовал, как у него идут дела. Он вроде был доволен своими успехами, и я попросил его сыграть.

— Нет, нет, не сейчас. Я совершенно выдохся, целый день не отходил от инструмента. Давайте пойдем в город пообедаем, а потом вернемся сюда, и я вам поиграю. Я всегда обедаю в одном и том же месте, у меня там несколько знакомых студентов, и вообще там весело.

Мы тотчас стали собираться. Он надел носки, туфли, натянул старую куртку для гольфа, и мы бок о бок двинулись по широким тихим улицам. День стоял свежий, холодный. Джордж шел бодрым шагом. Он обвел взглядом улицу и издал вздох удовлетворения.

Люблю Мюнхен, — признался он. — Это единственный город в мире, где даже воздух пропитан искусством. Ведь в конце-то концов на свете нет ничего важнее искусства, согласны? При одной мысли, что надо будет вернуться домой, мне становится тошно.

— Боюсь, все равно придется.

— Я знаю. Поеду, конечно, но пока не настанет время, не хочу и думать об этом.

— Когда поедете, вам не повредит постричься. Простите, что говорю это, но у вас слишком богемный вид даже для артиста — вы утрируете.

— Вы, англичане, страшные филистеры, — съязвил он.

Он привел меня в стоявшую на боковой улочке огромную ресторацию, переполненную ужинающими даже и этот ранний час и обставленную с немецкой средневековой тяжеловесностью. В углу — далеко от входной двери и свежего воздуха — для Джорджа и его друзей был оставлен покрытый красной скатертью столик. Среди них были поляк, изучавший восточные языки, студент-философ, художник из Швеции, должно быть, автор кубистических полотен, которые я видел у Джорджа, и молодой человек, который, щелкнув каблуками, представился как Hans Reiting, Dichter, то есть Ганс Райтинг, поэт. Никому из них не перевалило за двадцать два года, и я подумал, что плохо вписываюсь в их компанию. К Джорджу все они обращались на ты, и я отметил про себя исключительную свободу, с которой он изъяснялся по-немецки. Сам я давно не говорил на этом языке и сильно его подзабыл, поэтому мало участвовал в их оживленной беседе. Однако чувствовал я себя среди них превосходно. Говорили о литературе, об искусстве, о жизни, морали, автомобилях, женщинах. Взгляды у них были самые радикальные, и хотя тон был шутливый, говорили они совершенно серьезно. Мои сотрапезники презрительно отзывались обо всех хотя бы мало-мальски известных персонах, и единственное, на чем все они дружно сошлись во мнении, было то, что в этом сумасбродном мире лишь вульгарность может рассчитывать на успех. Они с увлечением обсуждали всякие профессиональные тонкости, возражали друг другу, кричали от возбуждения и чертыхались — они упивались жизнью.

Около одиннадцати часов мы с Джорджем направились к нему в студию. Мюнхен — из тех городов, что греховодничают исподтишка, и, за исключением Мариенплац, всюду было тихо и безлюдно. Когда мы пришли, он снял куртку и сказал:

— Вот теперь я вам поиграю.

Едва я опустился в продавленное кресло, как сломанная пружина тут же впилась мне в ягодицу, но я постарался занять по возможности удобную позицию и стал слушать. Джордж играл Шопена. Я слабо разбираюсь в музыке, именно по этой причине мне и дается так трудно эта история. Когда на концертах в Куинз-холл я читаю в антрактах программку, она для меня, что книга за семью печатями. Я ничего не понимаю в гармонии и контрапункте, и никогда не забуду, какое унижение испытал однажды, когда, приехав в Мюнхен на Вагнеровский фестиваль послушать «Тристана и Изольду», умудрился пропустить мимо ушей всю оперу. При первых же звуках увертюры мысли мои унеслись к моим писаниям и обратились на моих героев: они стояли передо мною как живые, я слышал их беседы, страдал и радовался вместе с ними; сменялись годы — я менялся тоже: восторгался чудом весны, дрожал от зимней стужи, голодал, любил, ненавидел, умирал. В антрактах я, должно быть, кружил по саду, ел Schinkenbrotchen,[[5]](#footnote-5) запивая пивом, но ничего этого не помню. Единственное, что врезалось мне в память, — когда дали занавес, я вздрогнул и очнулся. Конечно, я пережил прекрасные минуты, но не мог не сокрушаться о собственной глупости: стоило ли так далеко ехать и тратить столько денег, если я не мог переключиться на то, что происходило на сцене?

Джордж все больше играл знакомые вещи. То был обычный концертный репертуар, который он исполнил в самой энергичной манере, и перешел к бетховенской «Аппассионате». Я и сам играл ее в далеком отрочестве, когда учился фортепьянной игре (успехи были самые скромные), и до сих нор помню каждую ее ноту. Что и говорить, это классика, великое произведение, кто станет отрицать? Но признаюсь, в столь поздний час она меня не тронула.

Она вроде «Потерянного рая» Мильтона: божественна, но как-то холодновата. «Аппассионату» Джордж тоже сыграл с большим подъемом. И сильно вспотел. В первые минуты я никак не мог понять, что мне мешает в его манере: что-то царапало слух, и вдруг до меня дошло: у него «расходятся» руки — левая чуть отстает от правой, из-за чего между басовым и скрипичным ключом то и дело слышится крохотное несовпадение, — но, повторяю, в музыке я невежда, и, быть может, все дело было в том, что Джордж выпил слишком много пива в этот вечер, или вообще мне это померещилось. Я постарался выжать из себя побольше комплиментов.

— Да нет, я знаю, нужно гораздо больше работать. Пока я только новичок, но ничего, мне это по силам. Я чувствую это всеми фибрами души. Пусть я потрачу десять лет, но стану пианистом.

Усталый, он встал из-за рояля. Время было уже за полночь, и я собрался уходить, но он и слышать ничего не желал. Откупорил несколько бутылок пива и закурил трубку. Ему хотелось поговорить.

— Вам тут хорошо? — спросил я.

— Очень, — ответил он совершенно серьезно. — Я бы хотел тут жить. Никогда мне не было так весело. Взять, к примеру, сегодняшний вечер — правда, было замечательно?

— Очень занятно. Но нельзя же оставаться вечным студентом. Ваши друзья повзрослеют и разъедутся.

— Ничего, приедут другие. Здесь всегда полно студентов и всякого другого народу.

— Но вы ведь тоже повзрослеете. Есть ли более жалкое зрелище, чем человек в возрасте, который подлаживается под молодежь? Взрослый человек, который строит из себя мальчика, втирается в их общество и врет себе, что они принимают его на равных, — что может быть смешнее? Это немыслимо.

— Но я чувствую себя здесь как рыба в воде. Бедный папа мечтает, чтобы я стал английским джентльменом, а у меня от этого мурашки по коже бегают. Какой из меня охотник? Охота, стрельба, да и крикет тоже — мне все это даром не нужно. Я просто притворялся.

— И надо сказать, очень убедительно.

— Пока я не приехал сюда, я сам не знал, что все это не настоящее. Мне нравилось в Итоне, да и в Оксфорде мы жили в свое удовольствие, но все равно я чувствовал, что я чужак. Роль я играл — не подкопаешься, но это потому, что актерство у меня в крови, а все-таки душа была не на месте. Дом на Гросвенор-стрит — наша законная собственность, за Тильби папа выложил сто восемьдесят тысяч фунтов, но — не знаю, поймете ли вы, что я хочу сказать, — мне все равно всегда казалось, что и эти дома, и обстановку мы сняли на сезон и что в один прекрасный день уложим вещи и уступим место настоящим хозяевам.

Я слушал его с большим вниманием, пытаясь угадать, что из того, что он сейчас говорит, он и в самом деле смутно ощущал прежде, а что ему только кажется в новых, изменившихся обстоятельствах.

— Я раньше ненавидел, когда Ферди, мой двоюродный дедушка, рассказывал еврейские анекдоты. Мне казалось, ничего гнуснее быть не может. Зато теперь я понимаю: он просто спускал пары. Бог ты мой, какое напряжение — корчить из себя светского человека! Папе все же легче; правда, в Тильби ему приходится разыгрывать английского сквайра, но в городе он может быть самим собой. Папе хорошо. Но теперь я сорвал с себя маску и театральный костюм и наконец тоже могу быть самим собой. Какое облегчение! Признаюсь, недолюбливаю я вас, англичан. С вами никогда не знаешь, на каком ты свете. Вечно одна скука да условности. Вы никогда не даете себе воли. Да и не ощущаете вы ее, нет ее у вас в душе — воли, вы все такие перепуганные. Страшно боитесь сделать что-нибудь не так.

— Не забывайте, вы и сами англичанин, — пробормотал я.

Он в ответ рассмеялся:

— Кто, я? Я не англичанин. Во мне нет ни капли английской крови. Я еврей, и вы прекрасно это знаете, и к тому же — еврей немецкий. А я и не хочу быть англичанином. Я хочу быть евреем. Все мои друзья — евреи. Вы даже себе не представляете, как хорошо я себя чувствую среди них. Могу быть собой. Дома мы чего только не делали, чтобы не смешиваться с евреями. Мама — оттого, что она белокурая, — решила, что может покончить с еврейством, и все время притворялась, будто она англичанка. Какая чушь! А знаете, я получил столько удовольствия, когда гулял по еврейским кварталам Мюнхена, вглядывался в лица. И как-то раз во Франкфурте — евреев там тьма-тьмущая — я все ходил да глядел на мрачных стариков с крючковатыми носами, на толстых женщин в париках. Я чувствовал с ними такое родство, чувствовал, что я один из них, прямо хотелось расцеловать их всех. Они тоже поглядывали на меня; интересно, признавали они меня за своего или нет? Я страшно пожалел, что не знаю идиш. Так захотелось дружить с ними, бывать у них дома, есть кошерную пищу и все такое прочее. Я даже было пошел в сторону синагоги, да побоялся, что не знаю, как себя вести, и меня оттуда выдворят. Мне нравится самый запах гетто, и ощущение жизни, и таинственность, и грязь, и запустение, и романтика. И я уже никогда не избавлюсь от тяги ко всему этому. Вот это и есть настоящее, а все остальное — кукольная комедия.

— Вы разобьете отцу сердце, — сказал я.

— Ну так ведь либо ему, либо себе. Почему бы ему не отпустить меня на все четыре стороны? У него есть Гарри. Гарри только рад будет стать помещиком в Тильби. И джентльмен из него получится в наилучшем виде. Понимаете, мама вбила себе в голову, что я должен жениться на англичанке. Гарри сделает это с большим удовольствием. Найдет себе отличную старинную английскую семью и женится за милую душу. В конце концов, я прошу так мало. Какие-то пять фунтов в неделю, а им остаются и титул, и парк, и картины Гейнсборо, и все остальные бирюльки.

— Все это так, но вы дали честное благородное слово вернуться через два года.

— И вернусь, — угрюмо проговорил он. — Лия Мэкерт обещала меня послушать.

— А что вы сделаете, если отзыв будет неодобрительный?

— Пущу себе пулю в лоб, — беззаботно отозвался он.

— Ну и очень глупо, — в тон ему ответил я.

— Скажите, а вы хорошо чувствуете себя в Англии?

— Нет, но дело в том, что я нигде хорошо себя не чувствую, — признался я.

Как и следовало ожидать, ему было не до меня.

— Мне противна самая мысль о возвращении. Теперь я знаю, как разнообразна жизнь, и ни за какие коврижки не соглашусь быть английским сельским джентльменом. Боже мой, какая это скучища!

— Деньги — очень недурная штука, а быть английским пэром, по-моему, весьма приятно.

— Деньги для меня ничего не значат. Я не могу купить на них то, что мне больше всего нужно. И потом, не знаю уж почему, но я не сноб.

Час был очень поздний, а мне на следующее утро нужно было рано вставать. Я подумал, что не стоит придавать особого значения словам Джорджа. Такую чепуху часто мелют молодые люди, когда неожиданно попадают в среду художников и поэтов. Искусство — напиток крепкий, и нужно иметь крепкую голову, чтобы не захмелеть. Божественный огонь сильнее всего пылает в тех, кто умеряет его ярость здравым смыслом. В конце концов, Джорджу еще нет и двадцати трех, а время — лучший учитель. Да и не я отвечаю за его будущее. Я пожелал ему доброй ночи и отправился пешком в гостиницу. На равнодушном небосклоне ярко сияли звезды. Утром я уехал из Мюнхена.

По приезде в Лондон я не стал докладывать Мюриел ни о том, что говорил Джордж, ни о том, как он выглядит, а лишь заверил ее, что он вполне здоров и счастлив, очень много играет и, на сторонний взгляд, жизнь ведет трезвую и примерную. А еще через полгода он вернулся домой, и я получил от Мюриел приглашение приехать в Тильби на уик-энд: Ферди должен был привезти Лию Мэкерт послушать Джорджа и очень просил, чтобы при этом присутствовал и я. Конечно, я принял приглашение. Мюриел встречала меня на станции.

— Как вы нашли Джорджа?

— Ужасно толстый, но вроде бы очень веселый. По-моему, он рад, что вернулся, и так нежен с отцом.

— Приятно слышать.

— Ах, друг мой, я так надеюсь, что Лии Мэкерт не понравится его игра. У нас у всех просто гора свалится с плеч.

— Боюсь, для него это будет страшным ударом.

— Вся жизнь состоит из ударов, — сухо возразила она, — и ничего, мы привыкаем с ними справляться.

Я не мог удержаться от иронической улыбки: мы ехали в «роллс-ройсе»; впереди, за перегородкой, рядом с личным шофером сидел лакей; на шее у нее поблескивала нитка жемчуга тысяч в сорок. Впрочем, мне вспомнилось, что, когда присуждали почетные титулы по случаю дня рождения монарха, сэра Адольфуса Блэнда не было среди трех избранников, которых Его Величество соблаговолил произвести в пэры Англии.

Лия Мэкерт могла заглянуть в Тильби лишь ненадолго. В субботу вечером она выступала в Брайтоне, а в Тильби должна была приехать на своей машине в воскресенье утром и после ленча к вечеру вернуться в Лондон, потому что уже в понедельник давала концерт в Манчестере. Джорджу предстояло улучить минуту и поиграть ей в дневные часы после трапезы.

— Он так много занимается, — посетовала Мюриел. — Поэтому он и не приехал со мной встречать вас.

Свернув в ворота парка, мы покатили к дому по величественной въездной аллее, обсаженной могучими вязами. Гостей, кроме меня, явно не было.

Меня представили вдовствующей леди Блэнд. Я давно мечтал с ней познакомиться. Я рисовал себе импозантный образ старой-престарой еврейки, обитающей в полном одиночестве в роскошном доме на Портленд-плейс, но сующей нос во всякое дело и твердой рукой правящей всей семьей.

Действительность меня не разочаровала. Внешность у нее была представительная: она была довольно высокого роста, плотная, но не грузная, с типично еврейским лицом и очень заметными усиками, в каштановом парике со странным металлическим отливом. Облачена она была в роскошное платье из черной парчи, грудь обегал длинный ряд бриллиантовых звезд; вокруг шеи переливалось бриллиантовое колье, и на морщинистых пальцах сверкали бриллиантовые кольца. Говорила она довольно громко, резким голосом, с сильным немецким акцентом. Когда меня ей представляли, она вонзила в меня свои остро поблескивавшие глазки, быстро оценила мою особу и, как ни курьезно, нимало не пыталась скрыть, что вывод оказался для меня нелестным.

— Вы, кажется, давно знакомы с моим братом Фердинандом? — промолвила она, гортанно раскатывая «р». — Мой брат Фердинанд всегда вращался в самом лучшем обществе. А где же сэр Адольфус, Мюриел? Он знает, что ваш гость прибыл? А за Джорджем ты не хочешь послать? Если он до сих пор не выучил свои пьесы, до завтра он их все равно не выучит.

Мюриел объяснила, что Фредди доигрывает партию в гольф со своим секретарем, а Джорджу уже доложили, что я здесь. Леди Блэнд слушала ее с таким видом, будто эти разъяснения ей представлялись совершенно неудовлетворительными, и снова повернулась ко мне:

— Дочь сказала, что вы были в Италии?

— Да, только что вернулся.

— Красивая страна. Как себя чувствует король?

Я ответил, что мне ничего об этом не известно.

— Я хорошо его знала, когда он был маленьким мальчиком. Не очень крепкий ребенок. Королева Маргарита, его мать, была моей близкой подругой. Семья считала, что он никогда не женится. И герцогиня Аостская страшно рассердилась, когда он влюбился в эту черногорскую принцессу.

Казалось, она принадлежала к какому-то далекому-далекому прошлому, но держалась очень бодро, и я подумал, что немногое ускользает от ее глаз-буравчиков. Тут появился Фредди в бриджах для гольфа, очень щеголеватый. Было смешно и даже трогательно видеть, как этот седобородый и, в общем, довольно властный человек откровенно старается угодить пожилой матроне, которую называет «мама». Вскоре к нам присоединился Джордж. Такой же толстый, как и раньше, но стриженый — явно по моему совету. Мальчишеского обаяния в нем уже почти не осталось, зато он превратился в сильного, крепкого молодого мужчину. Приятно было наблюдать, с каким удовольствием он принялся за еду — поглощал горы бутербродов и огромные куски торта: аппетит у него был еще юношеский. Отец смотрел на него с ласковой улыбкой, и в самом деле, глядя на него, легко было понять, почему все они так к нему привязаны. Открытость его нрава, обаяние и пылкость, конечно, очень импонировали, а благородные манеры, искренность и врожденная сердечность не могли не привлекать сердца. Не знаю, обронила ли соответствующий намек его бабушка, или это просто следовало из великодушия его натуры, но ясно было, что он старается переломить себя ради отца. И по смягчившемуся взгляду Фредди, по тому, как он ловил каждое слово юноши, по довольному, счастливому и гордому выражению его лица можно было догадаться, чего ему стоило отчуждение последних двух лет. Он боготворил Джорджа.

###### \* \* \*

Утром мы играли в гольф втроем, так как Мюриел пошла к мессе и не могла составить нам компанию, а в час дня автомобиль привез Лию Мэкерт и Ферди. Мы сели за стол. Я, конечно, прекрасно знал, каким признанием пользуется Лия Мэкерт, считавшаяся лучшей пианисткой Европы. Их с Ферди, который своим покровительством и поддержкой очень помог ей в начале карьеры, связывала старинная дружба, и это он договорился, чтобы она послушала Джорджа и высказала мнение о его видах на будущее. Было время, когда я всеми силами старался не пропускать ее концерты. Играла она без малейшей аффектации — просто, как птицы поют, и вроде бы без малейшего усилия — невероятно естественно: серебряные звуки стекали с кончиков ее легких пальцев совершенно непроизвольно, так что возникало ощущение, будто все эти сложные ритмы — плод импровизации. Понимающие люди говорили мне, что у нее блистательная техника. Я никогда не мог понять, что мне доставляет больше удовольствия: ее исполнение или ее личность. В те дни она казалась самым эфирным созданием, какое только может нарисовать воображение; не верилось, что в столь хрупком теле живет такая сила. Она была тоненькая, бледная, с огромными глазами и массой пышных черных волос, а когда играла, на лице у нее появлялось мечтательное детское выражение, придававшее ей невыразимую прелесть. Она была пленительна, но красота у нее была какая-то неземная, и, когда во время исполнения легкая улыбка трогала уголки ее сомкнутых губ, чудилось, будто ей вспоминается что-то нездешнее, подслушанное в другом мире. Сейчас ей было уже сорок с небольшим, она утратила воздушность, раздалась, лицо стало полнее, и чарующая отрешенность сменилась категоричностью триумфатора, уверенного в очередном успехе. Она была бойкая, деятельная и какая-то избыточная. Казалось, что от избытка жизненной силы вокруг нее всегда горят софиты — как нимбы вокруг голов святых. Ее мало что интересовало, кроме собственных дел, но, обладая чувством юмора и знанием света, она умела с толком распорядиться своей веселостью. Она поддерживала беседу, не завладевая ею целиком. Джордж говорил мало. Время от времени Лия бросала взгляд в его сторону, но не старалась втянуть в разговор. За столом я был единственным неевреем, и хотя все, кроме леди Блэнд, говорили по-английски безупречно, я не мог отделаться от впечатления, будто говорят они как-то иначе, чем англичане, — возможно, слишком округляя гласные и уж, безусловно, слишком громко. Да и слова с их губ не слетали, а низвергались потоком. Мне пришло в голову, что, окажись я в комнате по соседству, куда бы доносились только неразборчивые звуки, я бы решил, что говорят на иностранном языке. От всего этого делалось как-то не по себе.

Лия Мэкерт хотела выехать в Лондон около шести часов вечера, поэтому прослушивание договорились устроить в четыре. Мне было понятно, что, чем бы оно ни кончилось, с ее отъездом я, человек и без того не принадлежащий к семейному кругу, останусь единственным посторонним, и потому, сославшись на неотложное дело, ожидающее меня с утра, я попросил Лию подбросить меня на своей машине.

Около четырех часов все мы собрались в гостиной. Старая леди Блэнд расположилась на диване рядом с Ферди; Фредди, Мюриел и я удобно устроились в креслах, а Лия Мэкерт села отдельно, инстинктивно выбрав якобитский стул с высокой спинкой, смахивающий на трон. В желтом платье, оттенявшем оливковую смуглость кожи, она выглядела очень эффектно. Глаза у нее были прекрасные. На сильно накрашенном лице ярко алели губы.

Джордж не проявлял никаких признаков волнения. Когда Фредди, Мюриел и я вошли в зал, он уже сидел за роялем и спокойно смотрел, как мы рассаживаемся. Он улыбнулся мне краешком губ. Увидев, что мы устроились, он заиграл. Начал он с Шопена. Он исполнил два хорошо знакомых мне вальса, полонез и этюд. Играл он с немалой долей brio.[[6]](#footnote-6) Жаль, что я недостаточно разбираюсь в музыке, чтобы точно описать его манеру. В ней были сила и юношеское буйство, но я ощущал, что ей недостает того, что составляет для меня особое очарование Шопена: нежности, щемящей меланхолии, мечтательной веселости и той слегка поблекшей романтики, которая всегда ассоциируется у меня с сентиментальностью раннего викторианства. Иногда мне снова чудилось — но может быть, я ошибался, слишком нечетким было впечатление, — что руки у него чуть-чуть расходятся. Я перевел глаза на Ферди и увидел, что он послал сестре немного удивленный взгляд. Мюриел сначала неотрывно следила за пианистом, потом потупилась и до самого конца не подымала глаз от пола. Отец тоже смотрел на юношу, смотрел не мигая, но, если только мне это не привиделось, лицо его все больше бледнело и приобретало тревожное выражение. Музыка у них в крови, всю свою жизнь они слушали ее в исполнении лучших музыкантов мира и судили о ней инстинктивно, но верно. Единственным слушателем, чьи черты сохраняли полное бесстрастие, была Лия Мэкерт. Она слушала очень сосредоточенно и ни разу не шелохнулась — как статуя в нише.

Наконец он доиграл и повернулся к ней, не говоря ни слова.

— Что вы хотите, чтобы я сказала?

Они смотрели прямо в глаза друг другу.

— Я хочу, чтобы вы сказали, есть ли у меня надежда стать со временем первоклассным пианистом.

— Нет. Даже через тысячу лет.

Воцарилась мертвая тишина. Фредди втянул голову в плечи и уставился на ковер. Мюриел взяла мужа за руку. Лишь Джордж продолжал неотступно смотреть на Лию Мэкерт.

— Ферди посвятил меня во все обстоятельства дела, — наконец заговорила она. — Но не думайте, что я исхожу из них в своей оценке. Все это мелочи. — И она обвела широким жестом великолепную, изысканно обставленную залу и всех нас, сидевших там. — Если бы я думала, что вас есть задатки истинного музыканта, я без малейших колебаний просила бы вас оставить все это ради искусства. Нет ничего важнее искусства. Рядом с ним ни богатство, ни титулы, ни власть не стоят ломаного гроша. — Она посмотрела на нас ясным взором, в котором не было ни малейшего вызова. — Важны только мы, все остальные не в счет. Мы вносим смысл в существование, а вы для нас лишь материал.

Меня несколько задело то, что меня зачислили в общую категорию, но сейчас речь шла не о том.

— Я, конечно, вижу, что вы очень много работали. И не думайте, что это был напрасный труд. Вы всегда будете испытывать радость от того, что можете сесть за инструмент и сыграть, да и удовольствие от игры больших музыкантов вы будете получать совсем другое, чем обычные люди. Они о таком и мечтать не могут. Посмотрите на свои руки — разве это руки пианиста?

Я невольно перевел взгляд на руки Джорджа. Прежде я как-то никогда не обращал на них внимания. Меня поразило, какие они широкие, с короткими толстыми пальцами.

— У вас не абсолютный слух. Думаю, из вас получится очень хороший любитель и не более того. В искусстве между любителем и профессионалом лежит пропасть.

Джордж не проронил ни слова. И если бы не разлившаяся но его лицу бледность, никто бы не догадался, что всем его мечтам сейчас выносят смертный приговор. Настала тягостная тишина. Вдруг глаза Лии Мэкерт налились слезами.

— Не полагайтесь на меня. Пусть вас послушает кто-нибудь еще, — уговаривала она. — Я не Бог, могу ошибаться. Вы, конечно, знаете, какой чудный, великодушный человек Падеревский. Я напишу, и вы поедете сыграете ему. Уверена, он вам не откажет.

В ответ Джордж слабо улыбнулся. Как безупречно воспитанный человек, он не хотел, чтобы присутствовавшие мучились неловкостью, какие бы чувства ни испытывал он сам.

— Думаю, в этом нет надобности. Я безоговорочно принимаю ваш вердикт. Сказать по правде, почти то же самое говорил мой педагог в Мюнхене.

Он встал из-за рояля и закурил сигарету. Это как-то разрядило обстановку, и все зашевелились на своих местах. Лия Мэкерт улыбнулась Джорджу:

— Хотите, я вам сыграю?

— Да, пожалуйста.

Она прошла к роялю. Сняла кольца, унизывавшие пальцы, и заиграла Баха. Не знаю, что именно: я никогда не помню названия вещей, но я узнал по-французски чопорную церемонность маленьких немецких княжеских дворов, опрятную умеренность бюргерского уюта, деревенские танцы на лужайке, зеленые деревца, похожие на рождественские елки, залитые солнцем деревенские просторы Германии и ее милую обжитость. Я вдыхал исходящий от земли теплый запах и ощущал кряжистую мощь, прущую из самых ее недр, и какую-то стихийную силу — не знающую счета времени и шедшую откуда-то из-за пределов космоса. Лия Мэкерт играла изумительно, нежное сияние звуков приводило на ум полную луну, чей свет струится по сумеречному летнему небу. Какой-то другой частью своего существа я продолжал наблюдать за остальными и видел, как глубоко они переживают совершавшееся: они сидели как зачарованные — и я от всей души позавидовал безраздельности их чувства. Лия закончила — на устах у нее еще порхала улыбка — и стала надевать кольца.

Джордж усмехнулся.

— Вот и ответ на все вопросы, — сказал он.

Слуги подали чай, и сразу после него мы с Лией Мэкерт попрощались и сели в машину. Ехали мы прямо в Лондон. Она не замолкала всю дорогу, и речи ее отличались если не блеском, то по крайней мере невероятной живостью. Она вспоминала свою манчестерскую юность, рассказывала, какие трудности ей пришлось преодолеть в начале карьеры. Слушать ее было очень интересно. О Джордже она не вспомнила ни единым словом: этот малозначительный эпизод был исчерпан, и больше она о нем не думала.

Мы не догадывались о том, что в это время происходило в Тильби. После нашего отъезда Джордж прошел на террасу, и отец тотчас последовал за ним. Да, Фредди одержал победу, но она его не радовала. Благодаря присущей ему поистине женской чуткости он знал, что испытывает Джордж, и от страданий сына у него просто разрывалось сердце. Пожалуй, никогда еще он не любил его так сильно. При виде отца Джордж слабо улыбнулся. Фредди заговорил с ним дрогнувшим голосом. В порыве захлестнувших его чувств он захотел отвергнуть плоды своей победы:

— Послушай, старина, не могу видеть, как ты огорчаешься. Может, поживешь еще годик в Мюнхене, а там посмотрим?

Джордж покачал головой:

— Да нет, это ничего не даст. Я использовал свой шанс. Кончен бал.

— Не принимай это так близко к сердцу.

— Понимаешь, если я чего и хотел в жизни, так только одного — стать пианистом. Ничего не поделаешь. Хотя не очень справедливо, если вдуматься.

Изо всех сил стараясь держать себя в руках, он улыбнулся бледной улыбкой.

— А может, покатаешься вокруг света? Возьмешь кого-нибудь из оксфордских друзей? Я все оплачу. Тебе пора отдохнуть — ты столько работал.

— Большое тебе спасибо, папа, потом подумаем. Сейчас мне хочется прогуляться.

— Можно с тобой?

— Да нет, я лучше один.

И тут Джордж сделал странную вещь. Обнял отца за шею обеими руками и поцеловал в губы. Потом как-то сдавленно, будто растроганно, хохотнул, повернулся и ушел. А Фредди поплелся в гостиную, где сидели его мать, жена и Ферди.

— Фредди, почему бы тебе не женить мальчика? — тут же спросила у него старая дама. — Ему уже двадцать три. Это бы в два счета отвлекло его от неприятностей, а потом, когда у него будут жена и ребенок, он остепенится и станет как все.

— На ком же ему жениться, мама? — поинтересовался с улыбкой сэр Адольфус.

— Ну, это не проблема. Ко мне на днях приезжала леди Фрейлинсгаузен со своей дочкой Виолеттой. Очень интересная девушка, и с деньгами. Леди Фрейлинсгаузен намекнула мне, что сэр Джейкоб не поскупится, если Виолетта сделает хорошую партию.

Мюриел вся вспыхнула:

— Терпеть не могу леди Фрейлинсгаузен. И Джорджу еще рано жениться. А уж жениться он может на ком пожелает — за него любая пойдет.

Старая леди Блэнд наградила дочь непроницаемым взглядом.

— Какая же ты глупенькая, Мириам, — проговорила она, называя невестку именем, от которого та давно отказалась. — Пока я жива, я не позволю тебе делать глупости.

Она ясно понимала, словно Мюриел назвала это своим именем, что невестка хочет женить Джорджа на англичанке, но она также знала, что, пока она жива, ни Фредди, ни его жена не осмелятся произнести это вслух.

Но Джордж отправился не на прогулку. Возможно, потому, что охотничий сезон должен был вот-вот начаться, он надумал пойти в комнату, где хранились охотничьи ружья, и стал чистить ружье, которое мать подарила ему на двадцатилетие. С тех пор как он уехал в Мюнхен, ружье так и стояло нетронутым. Вдруг грянул выстрел. Когда испуганные слуги вбежали в комнату, Джордж лежал на полу с простреленным сердцем. Видимо, ружье было заряжено, и, поворачивая его в разные стороны, Джордж нечаянно выстрелил себе в грудь. О таких происшествиях часто пишут в газетах.

1. Аллюзия на стихотворение Джона Китса (1795—1821) «Ода к соловью». — прим. пер. [↑](#footnote-ref-1)
2. В природе всему есть место (фр.). [↑](#footnote-ref-2)
3. В крапинку (фр.). [↑](#footnote-ref-3)
4. Пивная (нем.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Бутерброды с ветчиной (нем.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Живость (ит.). [↑](#footnote-ref-6)